

САБАХАТТИН АЛИ

Мадонна В МЕХОВОМ МАНТО



Магистраль. Главный тренд

Сабахаттин Али

Мадонна в меховом манто

«ЭКСМО»

1941

УДК 821.512.161-31
ББК 84(5Туц)-44

Али С.

Мадонна в меховом манто / С. Али — «Эксмо»,
1941 — (Магистраль. Главный тренд)

ISBN 978-5-04-178642-7

Легендарный турецкий писатель Сабахаттин Али стал запоздалым триумфальным открытием для европейской литературы. В своем творчестве он раскрывал проблемы взаимоотношений культур и этносов на примере обыкновенных людей, и этим быстро завоевал расположение литературной богемы. «Мадонна в меховом манто» – пронзительная «ремарковская» история любви Раифа-эфенди – отпрыска богатого османского рода, волею судьбы превратившегося в мелкого служащего, и немецкой художницы Марии. Действие романа разворачивается в 1920-е годы прошлого века в Берлине и Анкаре, а его атмосфера близка к предвоенным романам Эриха Марии Ремарка. Значительная часть романа – история жизни Раифа-эфенди в Турции и Германии, перипетии его любви к немецкой художнице Марии Пудер, духовных поисков и терзаний. Жизнь героя в Европе протекает на фоне мастерски изображенной Германии периода после поражения в Первой мировой войне.

УДК 821.512.161-31

ББК 84(5Туц)-44

ISBN 978-5-04-178642-7

© Али С., 1941

© Эксмо, 1941

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

26

Сабахаттин Али

Мадонна в меховом манто

© А. Аврутина, перевод на русский язык, 2023

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

* * *



Из всех людей, встречавшихся мне, лишь один произвел неизгладимое впечатление на меня. Все произошло очень давно, но я никак не могу этого забыть, и когда остаюсь один, перед глазами всегда возникает простое лицо Раифа-эфенди, его взгляд словно не от мира сего, лицо, на котором проскальзывало нечто вроде улыбки, когда он случайно встречался с кем-либо глазами. При этом его нельзя было назвать необычным человеком. Он скорее был одним из тех заурядных, ничем не примечательных людей, мимо которых мы, не замечая, проходим каждый день. Его жизнь не смогла бы никого заинтересовать – ни ее скрытые, ни ее видимые стороны. Встречая таких людей, мы часто задаемся вопросом: «Для чего они живут? Что находят они в жизни? Какая логика, какая тайная причина заставляет их ходить по земле и существовать?» Однако, когда мы так думаем о подобных людях, мы замечаем только внешнее и совсем не задумываемся о том, что и у них есть разум, и они так или иначе мыслят, и результат их мыслей – внутренний мир, у каждого человека свой. Не замечая проявлений этого скрытого мира, мы часто полагаем, что они вовсе не живут духовной жизнью. Если бы мы проявили обычное любопытство, то, возможно, узнали бы что-то, о чем вовсе не подозревали, и столкнулись бы с таким духовным богатством, обнаружить которое совсем не ожидали. Однако люди почему-то предпочитают интересоваться только теми явлениями, о которых заранее все известно. Легче найти героя, который залез бы в колодец с драконом, чем найти того, кто осмелился бы спуститься в колодец, ничего не зная о том, что там его ждет. А то, что я все-таки близко узнал Раифа-эфенди, оказалось делом случая.

После того как я был уволен с маленькой должности в одном из банков (почему меня уволили, я так и не узнал: мне сказали, что просто сокращение, но через неделю на мое место взяли другого человека), я долго искал работу в Анкаре. Некоторое количество денег позволило мне безбедно прожить летние месяцы, но приближавшаяся зима вынуждала смириться с тем, что пришел конец отдыху на тахте в гостях у друзей. У меня не осталось денег даже на то, чтобы продлить карточку на питание, которая через неделю должна была закончиться. Я вновь и вновь расстраивался, когда мои многочисленные попытки устроиться на работу, которые, как я полагал, ничем не закончатся, на самом деле заканчивались ничем. Не получая никаких ответов от знакомых, которых я просил помочь с работой, но получая отказы из магазинов, куда я просился в продавцы, в отчаянии я бродил по городу до полуночи. Кое-кто из друзей иногда приглашал меня выпить, но даже это не позволяло мне забыть о моем отчаянном положении. Самое странное: по мере того как у меня прибавлялось трудностей и мое материальное положение ухудшалось так, что невозможно было дожить до завтра, моя застенчивость и стыдливость усиливались. Встречая на улице знакомых, к которым я раньше обращался за помощью, от кого я не видел ничего дурного, я опускал голову и быстро проходил мимо. Изменилось и мое отношение к приятелям, которых я раньше без смущения просил угостить меня, и у которых прежде, не стесняясь, одалживал деньги. Если меня спрашивали: «Как дела?», я, смущенно улыбаясь, отвечал: «Ничего... Перебиваюсь временной работой!» – и сразу сбегал. Насколько я нуждался в людях, настолько же возрастало и мое желание избегать их.

Однажды, под вечер, я медленно брел по пустынной улице между Выставочным центром и вокзалом; глубоко вдыхая необыкновенную анкарскую осень, я хотел настроиться на оптимистический лад. Солнце, отражавшееся от стекол Народного дома¹ и забрызгавшее здание из белого мрамора пятнами цвета крови, непонятный туман – то ли пар, то ли пыль, – поднимающийся над молодыми соснами и акациями, молчаливые и сутулые рабочие в рваных робах, возвращавшиеся с какой-то стройки, асфальт, на котором тут и там виднелись следы мокрых автомобильных шин... Все вокруг, казалось, было довольно своим существованием. Хотелось принимать всё как есть, да мне и не оставалось ничего иного. И вдруг мимо меня проехал автомобиль. Я обернулся, лицо за стеклом показалось мне знакомым. А машина, проехав еще несколько метров, остановилась, дверь открылась, из машины высунул голову мой школьный приятель Хамди и окликнул меня.

Я подошел.

– Куда ты идешь? – спросил он.

– Никуда, просто гуляю!

– Поедем ко мне!

Не дожидаясь моего ответа, Хамди подвинулся. По дороге он рассказал, что возвращается домой после осмотра нескольких фабрик, принадлежавших фирме, где он работал.

– Я уже дал домой телеграмму, что скоро приеду. Должно быть, там уже все готово. Иначе я не решился бы тебя пригласить! – добавил он.

Я улыбнулся.

Раньше с Хамди мы часто встречались, но не виделись с тех пор, как я уволился из банка. Я знал, что он работает заместителем директора в какой-то фирме, занимавшейся перепродажей машин, а также производством строевого леса и пиломатериалов, и неплохо зарабатывает. Став безработным, я именно поэтому не обращался к нему: стеснялся, что он решит, будто мне нужна не работа, а деньги.

– Ты все еще в банке? – спросил он.

– Нет, я ушел оттуда, – ответил я.

¹ Народные дома – культурные заведения, призванные проводить в жизнь культурную политику Ататюрка, аналог Домов культуры советского времени. – Здесь и далее прим. переводчика.

Он удивился:

– И где же ты работаешь?

– Нигде, – нехотя проговорил я.

Он пристально посмотрел на меня, на то, как я одет, но, должно быть, не пожалел, что пригласил меня в гости, улыбнулся, и, дружески похлопав меня по плечу, сказал:

– Не расстраивайся, сегодня вечером что-нибудь придумаем!

Он выглядел уверенным в себе и довольным жизнью. Значит, он мог позволить себе роскошь делать широкие жесты, помогая знакомым. Я позавидовал ему.

Он жил в маленьком, но симпатичном доме. У него была некрасивая, но приятная жена. Они поцеловались, не стесняясь меня. Хамди, оставив меня, пошел умыться.

Он не представил меня жене, и я в растерянности стоял посреди гостиной. А она стояла у двери, незаметно меня разглядывала и какое-то время, видимо, раздумывала. Затем ей, видимо, пришло в голову предложить мне сесть. Но потом она, скорее всего, решила, что в этом нет необходимости, и потихоньку ушла.

Я задумался, почему Хамди, которого никогда нельзя было назвать небрежным, уделявший много внимания правилам этикета и своим жизненным благополучием отчасти обязанный этой привычке, бросил меня одного. Проявление этой, пожалуй, осознанной небрежности по отношению к своим старинным приятелям, в чем-либо уступающим им, становится одной из главных привычек тех, кто добился важного положения в жизни. Внезапно они начинают вести себя с окружающими по-простому и небрежно, до такой степени, что обращаются на «ты» к тем, кого они прежде называли на «вы». Они перебивают своего собеседника на полуслове, спрашивая о какой-нибудь мелочи, и считают вполне естественным проделывать это из раза в раз с жалостливой и лжемилосердной улыбкой. Я столько раз сталкивался со всем этим в последнее время, что мне даже не пришлось в голову рассердиться и обидеться на Хамди. Я решил встать и незаметно уйти, таким образом выйдя из этого затруднительного положения. Но в этот момент пожилая, провинциального вида женщина с покрытой головой, в белом переднике и заштопанных черных чулках молча принесла кофе. Я присел на одно из голубых кресел, расшитых золотыми и серебряными цветами, и огляделся. На стенах были фотографии семьи и портреты артистов, в стороне висела книжная полочка, должно быть, принадлежавшая хозяйке дома, на которой лежали журналы мод и пара-тройка дешевых романов. Несколько альбомов по истории живописи, аккуратно расставленных под сигарным столиком, были порядком истрепаны – видимо, гостями. Не зная, что делать, я взял один из них, но не успел его раскрыть, как в дверях показался Хамди. Одной рукой он расчесывал влажные волосы, а другой застегивал пуговицы на рукавах белой рубашки европейского покроя с расстегнутым воротником.

– Ну, как ты, рассказывай! – спросил он.

– Да никак. Я уже все рассказал, – ответил я.

Казалось, он был доволен, что встретил меня.

Возможно, потому, что радовался возможности продемонстрировать мне то, чего достиг, или же тешил себя тем, что не оказался в таком положении, как я. Нам свойственно испытывать облегчение, узнав, что людей, когда-то шагавших с нами по жизни, постигли несчастья или что они переживают трудности, словно эти несчастья и трудности миновали нас самих, и мы всегда проявляем милосердие и сострадание к этим несчастным, будто они навлекли на себя беды, которые предназначались нам. Хамди, кажется, испытывал ко мне подобные чувства.

– Пишешь что-нибудь? – поинтересовался он.

– Иногда... Так, стихи, рассказы, – улыбнулся я.

– Ну и как, помогает?

Я снова улыбнулся.

– Брось ты это! – сказал он и пустился в рассуждения о том, сколь успешна жизнь человека, у которого есть серьезная профессия, и о том, что такие бесполезные вещи, как литература, после школьной скамьи не приносят ничего, кроме вреда. Ему даже не приходило в голову, что с ним можно поспорить и ему можно возразить. Он говорил с таким видом, словно читал нравоучение ребенку и совершенно не стеснялся демонстрировать, что этой смелости он набрался именно из-за успехов в жизни. Я удивленно смотрел на него с глупой, как мне казалось, улыбкой на лице, и всем своим видом, наверное, придавал ему еще больше смелости.

– Приходи ко мне в контору завтра утром, – сказал он. – Посмотрим, что-нибудь придумаем. Парень ты способный. Правда, не очень-то трудолюбивый, но это не страшно. Жизнь и нужда – хорошие учителя. Завтра приходи, разыщи меня! Не забудь!

Говоря все это, Хамди, видимо, напрочь забыл, что сам некогда был одним из первых лентяев в школе. И был уверен, что я не решусь напомнить ему об этом.

Он сделал движение, словно собирается встать. Я вскочил и протянул ему руку:

– С твоего разрешения... Позволь удалиться...

– Еще так рано, дорогой мой! Но... как знаешь!

Я забыл, что он позвал меня на обед, но сейчас внезапно вспомнил об этом. Весь его вид свидетельствовал о том, будто он совершенно забыл, что пригласил меня. Я прошел к двери и взял шляпу:

– Мое почтение госпоже!

– Конечно, конечно! А ты завтра ко мне зайти! Не расстраивайся! – ободрял он, хлопая меня по спине.

Когда я вышел на улицу, уже стемнело, и зажглись фонари. Я глубоко вздохнул. Даже смешанный с пылью воздух показался мне невероятно чистым и освежающим. Я медленно побрел домой.

На следующий день, ближе к полудню, я направился в фирму, где работал Хамди. Между тем вчера, выходя из его дома, я вовсе не собирался этого делать. Он, в общем-то, ничего определенного мне не обещал. Проводил меня ни к чему не обязывающими словами: «Посмотрим, что-нибудь придумаем, что-нибудь сделаем!» – словами, которые я привык уже слышать от других благодетелей. Несмотря на это, я все же пошел. Помимо надежды, во мне почему-то зрело желание почувствовать себя униженным. Я будто хотел сказать себе: «Ты молча его слушал вчера вечером, позволяя ему обращаться с тобой как благодетелю. Так надо довести это до конца, ты это заслужил!»

Секретарша проводила меня в маленькую комнатку и попросила подождать. Когда я вошел в кабинет Хамди, то опять почувствовал, что глупо улыбаюсь, как вчера, и еще больше разозлился на себя.

Хамди разбирал бумаги, разложенные перед ним, и одновременно разговаривал с сотрудниками, которые то и дело входили и выходили. Он указал мне головой на стул и продолжил заниматься своими делами. Не осмеливаясь пожать ему руку, я сел. Сейчас, перед ним, я действительно был смущен, словно он был моим начальником или благодетелем, и признавал, что достоин такого унижительного обращения. Какая огромная пропасть чуть больше чем за двенадцать часов разделила меня и моего одноклассника, еще вчера вечером усадившего меня к себе в автомобиль! До чего смешны, случайны и пусты правила, определяющие отношения между людьми, как мало общего у них с настоящими человеческими чувствами...

А ведь со вчерашнего дня ни я, ни Хамди не изменились. Какое бы положение мы ни занимали, мы оба были прежними. Однако мы кое-что узнали друг о друге – я о нем, а он обо мне, и именно эти маленькие незначительные подробности развели нас... Что самое странное, мы оба принимали эти перемены как должное и считали естественными. Злился же я не на Хамди, не на себя, а на то, что все-таки пришел сюда.

Когда комната наконец обезлюдела, мой приятель поднял голову и сказал:

– Я нашел тебе работу.

Затем, дерзко и многозначительно посмотрев на меня, он добавил:

– То есть я придумал для тебя работу. Не слишком тяжелую. Будешь вести наши дела в некоторых банках и в особенности в нашем собственном. Будешь кем-то вроде ответственного по связям с банками. А в свободное время будешь сидеть в кабинете и заниматься своими делами. Стихов пиши – сколько хочешь. С директором я уже поговорил, оформим твое назначение. Платить много мы тебе сейчас не сможем: только сорок-пятьдесят лир. В дальнейшем, конечно, повысим. Ну все, давай! Удачи!

Не поднимаясь с кресла, он протянул мне руку. Я пожал ему руку и поблагодарил. На его лице было написано искреннее удовлетворение от того, что он сделал доброе дело. Я подумал, что он, в принципе, совсем неплохой человек и делает то, к чему его обязывает положение, и что, наверное, действительно так и надо. Однако, выйдя из кабинета, я какое-то время стоял в коридоре, раздумывая, идти мне в мой новый кабинет или же все бросить и уйти. Затем я медленно сделал несколько шагов, глядя перед собой, и спросил у первого встречного сотрудника, где кабинет переводчика Раифа-эфенди². Тот неопределенно махнул рукой в сторону какой-то двери и удалился. Я остановился. Почему я не могу все бросить и уйти? Неужели я не могу отказаться от сорока лир? Или же я стесняюсь некрасиво поступить с Хамди? Нет! Но моя многомесячная безработица, неясное будущее, поиски работы... А еще моя робость, которая теперь окончательно овладела мной... Все это держало меня в том темном коридоре и заставляло ждать, пока пройдет кто-нибудь еще.

Наконец я наобум приоткрыл одну дверь и увидел Раифа-эфенди. Я не был с ним знаком, но тем не менее сразу узнал человека, согнувшегося над столом. Впоследствии я часто задавался вопросом, почему я сразу узнал его. Хамди говорил мне: «Я велел поставить тебе стол в кабинете нашего немецкого переводчика, Раифа-эфенди. Он тихий, простой человек, никому не мешает». Его все называли «эфенди», в то время как к другим обращались «бай» и «байян»³. Возможно, я узнал его сразу потому, что этот седовласый, плохо выбритый человек в очках в черепаховой оправе, задумчиво посмотревший на меня, очень был похож на человека, которого я себе представлял. Не смутившись, я вошел и спросил:

– Раиф-эфенди – это вы, не так ли?

Сидевший передо мной человек некоторое время рассматривал меня. Затем тихо и немного испуганно сказал:

– Да, я! А вы, кажется, наш новый сотрудник? Вам здесь подготовили стол. Проходите, добро пожаловать!

Я вошел, сел за стол и начал разглядывать выцветшие чернильные пятна и царапины на поверхности, бросая исподтишка взгляды на моего соседа. Мне хотелось тайком рассмотреть его – и составить о нем первое и, конечно же, неверное впечатление, как всегда бывает при встрече с новым, посторонним человеком. Но тут я заметил, что он мною не интересуется, а, склонившись над столом, занят своими бумагами, как будто меня нет совсем.

Так продолжалось до полудня. Я уже смело смотрел на человека напротив меня. Макушка его коротко стриженной головы уже начала лысеть, на шее было множество морщин. Тонкими и длинными пальцами Раиф-эфенди перебирал документы, лежавшие перед ним, и с легкостью переводил их. Иногда он поднимал глаза, словно задумываясь над каким-то словом, которого не мог подобрать, и, когда наши взгляды встречались, на его лице мелькало что-то похожее на улыбку. Его лицо, лицо пожилого человека, было таким простодушным и наивным, особенно

² Эфенди — «господин», «сударь», обращение, принятое в османской Турции.

³ «Бай» — «господин», «байян» — «госпожа», обращения, введенные в употребление в республиканской Турции в 1930-х годах.

когда он так улыбался, что невозможно было не удивиться. Это впечатление усиливали его рыжие усы с подрезанными кончиками.

Отправляясь около полудня на обед, я увидел, что он остался сидеть на своем месте и, открыв один из ящиков стола, вытащил завернутый в бумагу хлеб и маленькую кастрюльку. Пожелав ему приятного аппетита, я вышел.

Хотя мы целыми днями сидели друг напротив друга в одной комнате, мы почти не разговаривали. Я познакомился со многими сотрудниками из других отделов, по вечерам мы часто уходили вместе и отправлялись куда-нибудь в кофейню поиграть в нарды. Судя по тому, что я узнал, Раиф-эфенди был одним из старейших сотрудников нашей фирмы. Фирма еще не была организована, когда он работал переводчиком в банке, который принадлежал теперь нам, а когда он пришел работать в банк – уже никто не помнил. Говорили, что он содержит большую семью и его денег им едва хватает. Я удивлялся, почему контора, которая сорит деньгами направо и налево, не повысит ему зарплату как работнику с большим стажем, и тогда молодые сотрудники улыбаются: «Потому что он – лентяй. Еще неизвестно, хорошо ли он знает язык!» Впоследствии я узнал, что немецкий он знал великолепно и переводы его были весьма точными. Он с легкостью переводил письмо о качестве строевого леса из ясеня и пихты, который должен был прибыть из хорватского порта Сушак, или о том, как работают машины, пробивавшие дыры в шпалах, и о запасных частях к ним. Контракты и соглашения, которые Раиф-эфенди переводил с турецкого на немецкий, директор фирмы, ничуть не сомневаясь, сразу же отправлял по месту назначения. Я видел, что в свободное время он, выдвинув один из ящиков стола, задумчиво читает какую-то книгу, не вытаскивая ее наружу. Однажды я спросил: «Что это такое, Раиф-бей?» Он покраснел, словно я застал его за каким-то грязным делом, и сразу закрыл ящик, пробормотав: «Да так, ничего... Один немецкий роман». Несмотря на это, во всей фирме никто даже и мысли не допускал о том, что он хорошо знает хотя бы один иностранный язык. Они вполне могли так думать, потому что он совершенно не был похож на человека, владеющего иностранным языком. В речи Раифа-эфенди никогда не проскакивало никаких иностранных слов, и никто никогда не слышал, чтобы он говорил, что знает языки. У него никогда не видели никакой иностранной газеты или журнала. Короче говоря, в нем не было ничего, что делало бы его похожим на людей, которые кричат всем своим существом: «Мы знаем европейские языки!» Это впечатление усиливало еще и то, что он никогда не просил повысить себе зарплату, чтобы она соответствовала его знаниям, и никогда не искал другую, более высокооплачиваемую работу.

По утрам он приходил вовремя, обедал у себя в кабинете, а по вечерам, сделав кое-какие покупки, сразу шел домой. Он ни разу не согласился пойти со мной в кофейню, хотя я приглашал его несколько раз. «Меня ждут дома», – говорил он. «Счастливый отец семейства, торопится скорее домой», – думал я. Позднее я узнал, что все было совсем не так, но об этом речь дальше. Его трудолюбие и усердие не мешали сотрудникам фирмы плохо с ним обращаться. Если наш Хамди находил малейшую опечатку в переводах Раифа-эфенди, то всегда вызывал беднягу, а иногда сам приходил в наш кабинет и устраивал ему нагоняй. Легко было понять, почему мой приятель, намного более осторожный с другими подчиненными и опасавшийся не понравиться молодым людям, каждый из которых пользовался какой-либо протекцией, так грубо обходился с Раифом-эфенди, который, как он знал, никогда не осмелился бы дать ему отпор; и почему из-за перевода, задержанного на несколько часов, он краснел до корней волос и кричал так громко, что было слышно во всем здании... Ведь что еще так сладко опьяняет людей, как не возможность испытать свою силу и власть на себе подобных? Особенно если, вследствие неких тонких расчетов, поступать так можно только с некоторыми определенными людьми.

Раиф-эфенди иногда болел и не приходил на работу. Часто то были всего лишь незначительные простуды. Однако, по его словам, он много лет назад переболел плевритом, и та

болезнь сделала его чрезмерно осторожным. При малейшем насморке он не выходил из дома, а если выходил, то надевал несколько толстых шерстяных кофт, на работе никогда не разрешал открыть окно, а под вечер уходил, плотно замотав шею и уши шарфом и подняв воротник теплого, хотя слегка поношенного пальто. Работой он не пренебрегал даже во время болезни. Тексты, которые необходимо было срочно перевести, ему с курьером отсылали домой, а спустя несколько часов забирали обратно. Несмотря на все это, и директор, и наш Хамди обращались с ним так, словно хотели сказать: «Мы держим тебя, хоть ты и болезненный привереда!» Впрочем, они не стеснялись по любому случаю высказывать ему это в лицо. Когда он отсутствовал несколько дней, а затем приходил, беднягу всякий раз встречали колкостями: «Ну, что? Надемся, на этот раз все прошло?»

Вместе с тем я тоже уже начал тяготиться Раифом-эфенди. На работе я никогда долго не сидел на месте. С папкой бумаг в руке я обходил банки и государственные учреждения, у которых мы принимали заказы. Время от времени я садился к своему столу, раскладывал по порядку документы и шел отчитаться перед директором или его заместителем. А этот человек, который сидел напротив меня настолько неподвижно, что можно было усомниться, жив он или нет, и выполнял переводы либо читал в ящике своего стола «немецкий роман», казался мне бессмысленным и скучным созданием. Я предполагал, что тот, кому есть что сказать, никогда не совладает с желанием тем или иным образом высказать это, а такой тихий и равнодушный человек ведет жизнь, не слишком отличающуюся от жизни растений: как машина, он приходит сюда, выполняет свои обязанности; с постоянством, которого я не понимал, читает какие-то книги, а вечером, сделав кое-какие покупки, возвращается домой. Казалось, единственным, что разнообразило его жизнь, каждый день и даже каждый год которой были похожи один на другой, – это дни болезни. Судя по тому, что рассказывали коллеги, он всегда жил так. Его никто никогда не видел чем-то взволнованным. Самые абсурдные, самые несправедливые обвинения начальства он всегда встречал одним и тем же спокойным, ничего не выражающим взглядом; отдавая и забирая свои переводы у секретарей, всегда благодарил их одной и той же ничего не выражавшей улыбкой.

Однажды, из-за опоздавшего – только потому, что секретари не придали должного значения просьбе Раифа-эфенди, – перевода, Хамди, придя в наш кабинет, стал грубо кричать:

– Сколько еще можно ждать? Я же сказал вам – у меня срочное дело, мне надо уехать, мне нужно письмо из венгерской фирмы. А вы так и не принесли мне перевод!

Вскочив со своего стула, Раиф-эфенди пролепетал:

– Я давно закончил, господин директор! Только вот секретари никак не могли напечатать. Сказали, им поручили спешные дела.

– Разве я не говорил вам, что это – самое спешное?

– Да, господин директор! Я тоже им говорил!

Хамди закричал еще громче:

– Вместо того чтобы мне возражать, делайте порученное вам дело! – и, хлопнув дверью, вышел.

Раиф-эфенди следом за ним отправился снова упрашивать секретарей поторопиться.

Во время всей этой бессмысленной сцены я думал о Хамди, который не удостоил меня даже взгляда. В эту минуту Раиф-эфенди вернулся и, сев на свое место, опустил голову. На лице его было то самое непоколебимое спокойствие, которое поражало и даже бесило окружающих. Взяв в руки карандаш, он начал что-то рисовать на бумаге. Он не писал, а просто чертил какие-то линии. Но его действия не были похожи на то, чем обычно, сам того не замечая, занимается нервничающий человек. Мне показалось, что я видел в уголках его губ под рыжими усами улыбку, свидетельствовавшую о его уверенности в себе. Рука его медленно двигалась по бумаге, и он, то и дело останавливаясь и сощуривав глаза, смотрел перед собой. По этой легкой улыбке, осветившей его лицо, я понимал, что он доволен собой. Наконец он отложил каран-

даш и принялся рассматривать лист бумаги, на котором рисовал. Я же, не отрываясь, наблюдал за ним. На этот раз у него на лице появилось совершенно иное выражение, и я изумился: в его глазах читалось сочувствие кому-то. От удивления мне не сиделось на месте. Когда он поднялся и опять ушел к секретарям, я немедленно вскочил, одним прыжком оказался у его стола и взял лист, на котором Раиф-эфенди только что рисовал. Взглянув на него, я застыл от изумления.

На листе бумаги размером с ладонь был нарисован Хамди. Это был именно он, и все свойственные ему черты были мастерски изображены с помощью нескольких простых линий. Не думаю, что кто-то другой заметил бы это сходство, если рассматривать портрет по частям, может быть, и вообще бы не нашлось ничего похожего. Однако тому, кто видел, как Хамди посреди комнаты кричит во все горло, невозможно было ошибиться. Невыразимо вульгарный, перекошенный от звериной ярости рот застыл прямоугольником; глаза-черточки, выпученные от бессилия, хотят, казалось бы, продырявить от злости все, что видят; нос с преувеличенно раздутыми, до щек, ноздрями, придает лицу еще более дикое выражение... Да, то был портрет стоявшего здесь несколько минут назад Хамди, а точнее, изображение его души. Главной же причиной моего изумления было иное: с того момента, как я пришел в фирму, на протяжении нескольких месяцев у меня возникали противоречивые мнения о Хамди. Иногда я пробовал простить его поступки, иногда же испытывал к нему презрение. Я пытался сопоставлять его личные, знакомые мне качества с теми, которыми его наделило нынешнее положение в обществе, затем пробовал отделить их друг от друга и запутывался окончательно. А вот Хамди с рисунка, изображенный несколькими умелыми штрихами Раифа-эфенди, был тем человеком, которого я до сих пор никак не мог разглядеть, но которого между тем уже долгое время хотел увидеть. Несмотря на примитивное и дикое выражение его лица, в нем было нечто вызывавшее жалость. Нигде еще не был так ясно изображен человек, до такой степени жестокий и жалкий одновременно. Я словно бы только сегодня по-настоящему узнал моего приятеля, с которым был знаком уже десять лет.

В то же время этот рисунок неожиданно помог объяснить мне и сущность Раифа-эфенди. Сейчас я уже очень хорошо понимал причину его непоколебимого спокойствия и странной стеснительности в отношениях с другими людьми. Разве мог человек, так хорошо понимавший окружающих и так ясно и отчетливо видевший всю суть общавшегося с ним человека, волноваться и на кого-либо сердиться? Что еще мог сделать такой человек, кроме как сохранять стоическое спокойствие перед тем, кто только что бился здесь в истерику, доказывая лишь свое превосходство? Все наши огорчения, все обиды, негодование и гнев начинаются, когда события оказываются неожиданными и непонятными. Разве можно чем-либо взволновать и потрясти человека, готового ко всему и знающего, чего от кого можно ожидать?

Личность Раифа-эфенди снова стала будоражить мое любопытство. Однако я чувствовал, что у меня еще много противоречивых суждений о нем, хотя многое уже прояснилось. Точность всех линий рисунка, который я держал в руке, показывала, что сделал его не любитель. Тот, кто его нарисовал, должен был заниматься графикой много лет. В этом рисунке воплотился не только взгляд человека, умеющего по-настоящему видеть то, на что он смотрит, но и мастерство художника, способного фиксировать происходящее во всех подробностях.

Дверь открылась. Я хотел быстро положить листок на стол, но не успел. Вошел Раиф-эфенди с переводом письма из венгерской фирмы.

– Очень хороший рисунок, – сказал я, словно извиняясь, и подумал, что он растеряется и испугается того, что я расскажу всем о его тайне. Но ничего подобного не произошло. Улыбнувшись, как всегда, задумчиво и отчужденно, он взял у меня из рук листок с рисунком.

– Много лет назад я недолго занимался живописью, – сказал он. – Иногда я по привычке что-нибудь маляю. Вы же видите, всякую ерунду... Так, от скуки...

Скомкав рисунок, он бросил его в мусорную корзину.

– Машинистки очень быстро напечатали, – пробормотал он. – Наверняка есть ошибки, но если я возьмусь читать, то еще больше рассержу Хамди-бея. И он будет прав. Пойду-ка лучше отдам ему...

Раиф-эфенди снова вышел. Я проводил его взглядом. «И он будет прав, и он будет прав...» – повторял я про себя.

После этого я начал интересоваться всем, что делал Раиф-эфенди, всеми его самыми пустячными и незначительными поступками. Я стал пользоваться каждым удобным случаем поговорить с ним, узнать что-либо, касающееся его подлинной личности. А он будто не замечал моей назойливости. Напротив, он по-прежнему был со мной вежлив, но всегда держался на расстоянии. Как бы внешне ни развивалась наша дружба, внутри он всегда оставался для меня закрытым. Даже когда я познакомился поближе с семьей Раифа-эфенди и с тем положением, которое он в этой семье занимал, мой интерес к нему только усилился. Каждый шаг, который я предпринимал, чтобы приблизиться к нему, наводил меня на все новые и новые загадки.

Первый раз я пошел к нему домой во время одной из его обычных болезней. Хамди хотел отправить к нему курьера с переводом, который следовало выполнить к следующему дню.

– Давай лучше я отнесу. Заодно и навещу его, – предложил я.

– Хорошо. Посмотри, что там с ним. В этот раз он что-то слишком долго болеет!

И в самом деле, на этот раз его болезнь длилась дольше обычного. Он не был на работе уже неделю. Один из конторских посыльных объяснил мне, как разыскать его дом в квартале Исет-Паша. Стояла середина зимы. Вечерело рано. Я отправился в путь. Я шел по кварталам узких улочек с разбитыми мостовыми, которые совсем не были похожи на выложенные асфальтом новые анкарские дороги. Дорога то резко поднималась вверх, то уходила вниз. Прodelав долгий путь и очутившись почти на окраине города, я свернул налево и, зайдя в кофейню на перекрестке, разузнал, где живет Раиф-эфенди. Он жил на нижнем этаже желтого двухэтажного дома, одиноко стоявшего между двух незастроенных участков, заваленных кучами камней и песка. Я позвонил в звонок. Дверь открыла девочка лет двенадцати. Я спросил ее отца. Притворно наморщив личико и скривив губы, она сказала:

– Проходите, пожалуйста!

Внутри дом выглядел совсем не так, как я предполагал. В просторной прихожей, которая явно использовалась как столовая, стоял большой складной стол, у стены располагался буфет с хрустальной посудой. На полу лежал красивый сивасский ковер⁴, а из кухни, расположенной в боковой части дома, вкусно пахло едой. Сначала девочка провела меня в гостиную. Здесь все вещи тоже были красивыми и на вид довольно дорогими. Красные кресла, обитые бархатом, низкие сигарные столики из ореха и огромное радио у стены заполняли пространство. По всем сторонам – над столиками и за креслами – висели кремового цвета кружева тонкой работы и суннитская акыда⁵ в рамочке, выписанная вязью в виде корабля.

Через несколько минут девочка принесла кофе. На ее лице все время было одно и то же капризное выражение, словно бы она хотела поиздеваться надо мной. Забирая у меня чашку, она сообщила:

– Папа болен, сударь, и не может встать с постели. Пожалуйста, проходите в его комнату. – Произнося это, она всем своим видом показывала, что я недостоин такого благородного обращения.

Войдя в комнату, где лежал Раиф-эфенди, я совершенно изумился. Маленькая комната, в которой стоял ряд белых коек, совершенно непохожая на другие части дома, напоминала скорее спальню в школе-интернате или больничную палату. Раиф-эфенди полулежал на одной

⁴ Сивас – город в центральной Анатолии, один из давних центров ковроткачества.

⁵ Акыда – род мусульманского исповедания веры, суннитская акыда начинается словами «Аманту би-ль-Лахи...» – «Верую во Всевышнего Бога, в Его Ангелов...» и состоит из перечисления шести столпов ислама.

из них под белыми одеялами и приветствовал меня, глядя из-под очков. Я поискал стул, чтобы сесть. Однако оба стула, имевшиеся в комнате, были завалены шерстяными кофтами, женскими чулками, несколькими снятыми и брошенными тут же шелковыми платьями. У одной из стен стоял платяной шкаф, крашенный в цвет гнилой вишни, и в приоткрытую дверцу виднелись висевшие как попало платья, женские костюмы, а под ними – узлы с одеждой. В комнате царил невероятный беспорядок. На тумбочке в изголовье у Раифа-эфенди на жестяном подносе была забыта, по-видимому с обеда, грязная тарелка из-под супа, открытый маленький графин, а рядом какие-то лекарства в тубиках и баночках.

Больной, указав в изножье кровати, сказал:

– Садитесь сюда, голубчик!

Я кое-как присел. На спину у него была накинута пестрая шерстяная женская кофта, протершаяся на локтях до дыр. Он лежал, прислонившись головой к белой металлической спинке кровати. Его одежда висела кучей на кровати у него в ногах, там, где я сидел.

Почувствовав, что я рассматриваю комнату, хозяин дома сказал:

– Я сплю здесь вместе с детьми... Это они устраивают беспорядок... Да и дом маленький, мы не помещаемся...

– У вас большая семья?

– Довольно большая... У меня взрослая дочь, она ходит в лицей. И еще та, которую вы видели... Затем моя свояченица и ее муж, два шурина... Живем все вместе. У моей свояченицы тоже есть дети... Двое... Проблема с жильем в Анкаре известна всем. Разъехаться нет никакой возможности...

В это время снаружи зазвенел звонок, по шуму и громким разговорам я догадался, что пришел кто-то из членов семьи. Дверь открылась. В комнату вошла полная женщина лет сорока с подстриженными волосами, спадавшими на лицо. Наклонившись, она прошептала что-то на ухо Раифу-эфенди. Не ответив ей, он представил меня:

– Мой сослуживец. А это моя супруга, – указал он на нее.

Затем, повернувшись к жене, сказал:

– Возьми из кармана моего пиджака.

На этот раз, уже не наклоняясь к его уху, женщина проговорила:

– Послушай, я пришла не за деньгами, а спросить, кто пойдет в магазин... Ты же совсем не вставал!

– Пошли Нуртен. Магазин в двух шагах.

– Как это я ночью пошлю в лавку маленького ребенка? В такой холод... А потом, она же девочка... Да и разве она меня послушается?

Раиф-эфенди подумал какое-то время, но все же, покачав головой, сказал:

– Пойдет, пойдет! – и посмотрел перед собой.

Когда жена вышла, он повернулся ко мне.

– В нашем доме и хлеб купить – проблема... Стоит мне заболеть – им за хлебом послать некого!

Словно и мне было до этого дело, я спросил:

– Ваши шурины маленькие?

Он посмотрел мне в глаза, ничего не ответив. По выражению его лица создавалось впечатление, будто он совершенно не слышал моего вопроса. Но через несколько минут сказал:

– Нет, они не маленькие. Оба работают. Служащие, как и я. Свояк работает в Министерстве экономики, он их обоих устроил на работу. Они не учились, у них даже школьного диплома нет. – Затем он внезапно спросил: – Вы принесли что-нибудь на перевод?

– Да... Сказали, надо к завтрашнему дню. С утра пришлют курьера.

Он взял бумаги и положил рядом с собой.

– А я хотел осведомиться о вашем здоровье.

– Большое спасибо... Болезнь затянулась. Никак не могу отважиться встать!

В его глазах светилось странное любопытство. Он словно бы пытался понять, был ли мой интерес к нему искренним. Чтобы заставить его поверить в это, я был готов на многое, но его глаза, в которых я впервые увидел отражение какой-то эмоции, очень быстро приняли прежнее бессмысленное выражение, а на лице появилась обычная, ничего не выражающая улыбка.

Вздохнув, я поднялся. Внезапно он выпрямился и взял меня за руку:

– Большое спасибо, что вы пришли, сынок! – сказал он.

В его голосе слышалось тепло. Казалось, он догадался, что во мне происходило.

И действительно, с этого дня между мной и Раифом-эфенди установилась некая близость. Я не могу сказать, что он стал как-то по-другому себя со мной вести. Мне даже не пришлось бы в голову утверждать, что он стал откровенным, открытым со мной. Он остался тем же скрытным, молчаливым человеком. Между тем иногда по вечерам мы вместе выходили с работы и шли пешком до его дома, и даже, бывало, заходили к нему, посидеть за чашечкой кофе в гостиной с обитой красным бархатом мебелью. Но в это время мы либо вообще не разговаривали, либо разговаривали о пустяках: об анкарской дороговизне либо о разбитых мостовых в квартале Исмет-Паша. Он редко вел речь о доме и о домашних. Иногда невзначай ронял: «Наша девочка опять получила двойку по математике!», но тут же менял тему разговора. А я стеснялся его расспрашивать. Первое впечатление от его семьи было не очень приятным.

Когда я вышел от больного и шел через прихожую, двое молодых людей и девушка пятнадцатилетней-шестнадцатилетней, сидевшие вокруг большого стола в центре комнаты, не дожидаясь, пока я повернусь спиной, склонились друг к другу и стали перешептываться и смеяться. Я знал, что во мне нет ничего смешного, но они, как и все пустые люди в их возрасте, были из тех, кто считал, что смеяться в лицо впервые встреченному человеку является своего рода признаком превосходства. Даже маленькая Нуртен корчилась от смеха, чтобы угодить сестре и дядям. Впоследствии всякий раз, когда я бывал в том доме, я встречал то же самое. Я тогда тоже был молод, мне не исполнилось двадцати пяти лет, но странная привычка, которую я замечал у некоторых молодых людей, – склонность воспринимать человека, которого они не знают и которого видят впервые, как нечто весьма забавное, – вызывала у меня удивление. Я стал замечать, что и положение Раифа-эфенди здесь не очень приятное и что в этом скопище людей он выглядит ненужным и лишним.

Позднее я подружился со всеми этими ребятами. Они были совсем неплохими людьми, только совершенно пустыми. А все глупости и неуместные выходки совершали именно от этого. Внутреннюю, все увеличивающуюся пустоту они могли заполнить, лишь унижая других людей, презирая и насмехаясь над ними, подмечая их необычные качества. Я прислушивался к их разговорам. У Ведата и Джихата, бывших мелкими служащими в Министерстве экономики, не было других дел, кроме как сплетничать о сослуживцах, а у старшей дочери Раифа-эфенди, Неджли, – об одноклассниках, подмечая точно такие же странности в поведении и в одежде, какие, впрочем, были у них самих.

– Помнишь, в каком платье Муалла была на свадьбе? Ха-ха-ха!

– Ты бы видела, как она отшила нашего Орхана, – ха-ха-ха!

Ферхунде-ханым, свояченица Раифа-эфенди, была в состоянии думать только о своих двух детях – трех и четырех лет – и о том, как, едва найдя удобный момент, оставить их старшей сестре и, наспех накрасившись и надев шелковое платье, отправиться гулять. Я видел ее несколько раз, когда она, стоя перед зеркалом, аккуратно надевала шляпку с вуалью на крашенные и завитые волосы. Хотя она была еще достаточно молода, лет тридцати, кожа вокруг глаз и рта у нее была в морщинках. Ее ярко-голубые глаза никогда не задерживались на чем-либо долго и выражали неизбежную внутреннюю тоску, на которую она была обречена с самого рождения. Она постоянно ругала своих детей – вечно неопрятных, бледных, с перепачканными

ручками и личиками, словно они были наказанием, насланным ей неизвестным заклятым врагом; когда она наряжалась, готовясь отправиться на прогулку, она не знала, как отогнать их от себя, чтобы они не касались ее и не пачкали ей платье грязными руками.

Муж Ферхунде-ханым, Нуреттин-бей, служил начальником одного из отделов в Министерстве экономики и был разновидностью нашего Хамди. Ему было примерно тридцать – тридцать два года, он постоянно заботливо взбивал свои выющиеся светло-каштановые волосы и зачесывал их назад, словно подмастерье в парикмахерской. И даже когда просто спрашивал «Как ваши дела?», он плотно сжимал губы и слегка покачивал головой с таким видом, словно изрек великую мудрость. Когда Нуреттин-бей с кем-нибудь разговаривал, он неподвижно смотрел собеседнику в лицо, и в это время в его глазах блуждала улыбка, словно бы говорившая: «Послушайте, и вы это хотели мне сказать? Да что вы об этом знаете?»

Окончив ремесленное училище, он почему-то был отправлен в Италию изучать кожевенное дело, но там лишь освоил немного итальянский язык и научился принимать вид важного человека. Вместе с тем у него были немалые способности, чтобы добиться успеха в жизни. Он с большой уверенностью видел себя достойным весьма важных постов и постоянно высказывал свои замечания относительно любого вопроса, вне зависимости от того, понимал он в нем что-нибудь или нет, и при этом, относясь с пренебрежением ко всем без исключения, он убеждал окружающих в своей собственной значимости. (Я полагаю, что домашние Раифа-эфенди приобрели манеру подсмеиваться над окружающими именно от его зятя, которым они все восхищались.) К тому же Нуреттин-бей тщательно следил за своей внешностью: каждый день брился, требовал тщательно гладить ему его поношенные брюки, за чем присматривал лично, и мог посвятить целый выходной день походу по магазинам, лишь бы найти самые шикарные ботинки и самые чудесные носки. И это при том, что его жалованья едва хватало на одежду ему и его жене. А поскольку оба шурина получали по тридцать пять лир каждый, то все расходы по дому ложились на хилую зарплату нашего Раифа-эфенди. Несмотря на это, в доме пользовались авторитетом все, кроме бедного старика. Жена Раифа-эфенди, Михрие-ханым, совершенно состарившаяся к своим сорока годам, с дряблым телом, отвисшей до пояса грудью, невероятно толстая, проводила весь день на кухне у плиты, а в свободное время ставила заплатки на кучи детских носков и приглядывала за избалованными «шалунишками» своей сестры; несмотря на все это, она тоже никак не могла угодить домашним. Никто из них не спрашивал, как живет дом, все только полагали, что достойны лучшей жизни, и каждый вновь и вновь выказывал неудовольствие, кривясь на всё и ругая приготовленную еду. Когда Нуреттин-бей возмущался: «Ну что это такое, Михрие, голубушка?», он словно бы хотел сказать: «Ради бога, скажите, на что уходят сотни лир, которые я даю?» Братья Михрие, носившие дорогие шарфы, совершенно не стеснялись заставлять свою старшую сестру вставать из-за стола и отправляться на кухню, требуя: «Мне не нравится еда, иди свари мне яйцо!» или: «Я не наелся, поджарь мне колбасы!». Однако когда требовалось несколько куришей⁶, чтобы купить на вечер хлеба, они жалели выделить их из своего кармана и будили больного Раифа-эфенди, дремавшего у себя в комнате. Словно и этого было недостаточно, они злились, что он долго болеет и сам не может сходить в магазин.

В противоположность неразберихе в невидных постороннему частях дома, в прихожей и в гостиной царил порядок, который до известной степени был делом рук Неджли. Однако другие домашние считали уместным таким образом скрывать истинное лицо своего дома перед многочисленными приятелями.

Поэтому они были готовы даже лично годами выплачивать кредиты мебельным магазинам, хотя это доставляло всем множество трудностей. Зато обитая красным бархатом мебель заставляла гостей дома одобрительно покачивать головами, радио на двенадцати лампах было

⁶ *Куруши* – мелкая монета. Одна турецкая лира равняется ста курушам.

способно вещать на весь квартал, а набор позолоченных хрустальных стаканов, расставленных в застекленном буфете, всегда подчеркивал достоинства Нуреттина-бея в глазах приятелей, которых он часто приводил пропустить стаканчик-другой раки.

Несмотря на то что весь груз хозяйственных забот нес на своих плечах Раиф-эфенди, домашним было все равно – есть он или нет. Все – от мала до велика – будто не замечали его. Они не разговаривали с ним ни о чем, кроме денег и насущных потребностей; часто они предпочитали вообще решать все вопросы через Михрие-ханым. Словно бездушную машину, выставляли они его по утрам из дому, надавав ему поручений, и по вечерам он возвращался с полными сумками. Даже Нуреттин-бей, который еще лет пять назад, когда просил руки Ферхунде-ханым, хвостом ходил за Раифом-эфенди и делал все, чтобы ему понравиться, а после помолвки никогда не приходил в дом с пустыми руками, лишь бы порадовать будущего свояка, теперь словно тяготился тем, что ему приходится жить в одном доме с таким бесполезным человеком. Домашние сердились на Раифа-эфенди за то, что он не зарабатывает достаточно и не обеспечивает их роскошью еще больше, но в то же время убежденно считали его пустым местом. Даже его дочь Нуртен, учившаяся в начальной школе, и Неджлей, напоминавшая вполне разумного человека, – возможно, под влиянием дядей и тетки с мужем – следовала общему отношению, сложившемуся в семье к отцу. В проявлениях их дочерней любви чувствовалась небрежность наемных работниц; они ухаживали за отцом во время болезни, но с усердием, похожим на ложное сострадание, которое обычно демонстрируют беднякам. И только его жена, Михрие-ханым, чуть отупевшая от забот о хлебе насущном за годы тяжких трудов, не становившихся легче ни на мгновение, занималась своим мужем, делая все, чтобы дети его не презирали и обращались с ним хорошо.

Когда на ужин приходили гости, она, чтобы не давать повода Нуреттин-бею либо своим братьям громко приказывать Раифу-эфенди сходить в магазин, потихоньку отводила мужа в спальню и, понизив голос, просила: «Сходи купи в бакалее восемь яиц и бутылку раки, не надо сейчас никого из-за стола поднимать». Она уже не задумывалась, почему ее муж и сама она не за этим столом, но если они раз в сто лет и оказывались там, то по обыкновению встречали недовольные взгляды, словно из-за их появления всем делалось неловко. Впрочем, возможно, сама Михрие-ханым ничего не замечала.

Раиф-эфенди проявлял по отношению к жене странную нежность. Он будто жалел эту женщину, которая, казалось, месяцами не находила времени, чтобы надеть что-то иное, кроме кухонного халата. Иногда он спрашивал:

– Ну как, жена, сегодня очень устала?

Иногда, усадив ее перед собой, он обсуждал с ней, как обстоят дела у детей в школе и какие предстоят расходы на будущих праздниках.

В отношениях с другими домашними он не проявлял ни малейшей духовной привязанности. Иногда он подолгу смотрел на старшую дочь, будто ждал от нее тепла и нежности. Но это обычно длилось недолго; девочка вдруг начинала глупо жеманничать и беспричинно смеяться, и между ними словно разверзалась пропасть.

Я много думал об этой стороне жизни Раифа-эфенди. Такой человек, как он – а какой он человек, я и не знал, хотя был уверен, что не такой, каким выглядит, – да, такой человек был не в состоянии просто уйти, лишь захотев, от самых близких людей. Проблема заключалась в том, что его близкие так и не узнали, что он за человек, а он был не из тех, кто прилагает какие-либо усилия, чтобы дать себя узнать. Поэтому ничто не могло растопить лед между ними и устранить ужасное отчуждение, которое все эти люди испытывали друг к другу. Люди ведь знают, как сложно бывает познать друг друга, но вместо того чтобы пытаться делать это нелегкое дело, предпочитают двигаться наобум, как слепцы, а о существовании друг друга узнавать из взаимных столкновений.

Раиф-эфенди, как я говорил, словно бы ожидал чего-то только от Неджли, своей старшей дочери. В этой девочке, мимикой, манерой речи и жестами подражавшей своей крашеной тетке и все познания черпавшей в заумных словесах ее муженька, под толстой внешней скорлупой, казалось, оставалось что-то подлинно человеческое. Она часто ругала сестру Нуртен, которая словно бы старалась довести беспардонное поведение по отношению к отцу до оскорбительной степени, и в ее словах иногда чувствовалось истинное возмущение, а иногда, когда за столом или в комнатах о Раифе-эфенди говорили особенно непочтительно, она вообще выходила, с силой хлопнув дверью. Однако такие случаи были лишь проявлениями ее скрытой подлинной человечности, которая иногда шевелилась в ней, хотя фальшь, которую годами кропотливого труда создавало в ней ее окружение, была в ней настолько сильна, что не позволяла полностью проявиться ее истинной сущности.

Я же, с нетерпимостью, порожденной, вероятно, моей молодостью, сердился на эту почти пугающую безгласность Раифа-эфенди. Он не только мирился с тем, что и дома, и на работе люди, абсолютно чуждые ему по духу, не считали его человеком, но даже считал это по-своему уместным. Хотя я знал, что люди, истинную сущность которых окружающим не понять и о которых постоянно судят ошибочно, начинают испытывать гордость и горькое удовольствие от своего одиночества, я никогда не мог даже подумать, чтобы такие люди считали подобное поведение окружающих правильным.

Разные признаки свидетельствовали о том, что Раиф-эфенди вовсе не был бесчувственным человеком. Напротив: он был очень впечатлителен, весьма проницателен и деликатен. От его неподвижного взгляда, всегда словно застывшего перед собой, ничто не ускользало. Однажды он услышал, как дочери тихо препирались за дверью из-за кофе, который должны были принести мне: «Нет, ты приготовь! – Нет, ты!», но ничего не сказал. А когда через десять дней я снова пришел к ним, он сразу громко сказал из комнаты:

– Кофе не варите, он не пьет!

Он поступил со мной так, как поступают с близкими людьми, хотя сделал это с целью не допустить повторения ситуации, которая была тяжела ему, а это привело к тому, что я еще больше к нему привязался.

Мы все еще ни о чем важном не говорили. Но теперь это меня не удивляло. Разве не была его тихая, безмолвная жизнь, его терпение, сострадание, с каким смотрел он на людские слабости, а на грубости – с насмешкой, разве не было все это выразительно само по себе? Разве не чувствовал я всей душой, что рядом со мной во время наших прогулок идет настоящий человек? В это время я понял, почему для того, чтобы люди искали, находили и наблюдали за внутренним миром друг друга, разговоры вовсе не обязательны; и почему некоторым поэтам, любующимся красотами природы, бывает нужен человек, который просто молча идет рядом. Хотя сам я не знал толком, чему научился у того, кто молча шел рядом со мной и кто всегда безмолвно работал напротив меня, я был уверен, что научился у него гораздо большему, нежели мог бы научиться у кого-нибудь, кто бы поучал меня годами.

Я чувствовал, что тоже нравлюсь Раифу-эфенди. Теперь он, кажется, не испытывал в отношении меня той боязни и смущения, которое испытывал ко всем людям и в том числе ко мне, когда мы только познакомились. Лишь иногда он внезапно становился отчужденным, глаза его теряли всякое выражение, сужались, а когда с ним заговаривали, отвечал тихим, но препятствовавшим всякому сближению голосом. В такие мгновения он забывал о переводах и, откладывая карандаш в сторону, часами смотрел перед собой, на лежащие перед ним бумаги. Я чувствовал, что в такие минуты он уходит по ту сторону пространства и времени, никого не впуская туда, и даже не пытался приблизиться. Меня беспокоило лишь одно: я заметил, что болезни Раифа-эфенди по странной случайности начинались чаще всего именно в такие дни. Причину этого мне предстояло вскоре узнать, но при весьма печальных обстоятельствах. Однако расскажу все по порядку.

Однажды в середине февраля Раиф-эфенди вновь не пришел на работу. Ближе к вечеру я зашел к нему домой. Дверь открыла его жена, Михрие-ханым.

– А, это вы? Пожалуйста! Он недавно заснул... Хотите, я его разбужу?

– Нет-нет! Не беспокойте его... Как он себя чувствует? – спросил я.

Женщина провела меня в гостиную:

– У него жар. На этот раз жалуется на острую боль! – Затем жалобно всхлипнула: – Ах, сынок! Он совсем не следит за собой... А ведь не ребенок... Мрачнеет вдруг отчего-то, когда ничего не случилось. Что с ним – не знаю... С ним бывает даже невозможно поговорить... Отворачивается и уходит... А затем вот так вдруг ляжет...

В это время из соседней комнаты послышался голос Раифа-эфенди. Она немедленно побежала туда. Я удивился. Разве этот человек, который так следил за своим здоровьем и не знал, как бы получше себя защитить, заматываясь в шерстяные шарфы и свитера, мог быть столь небрежен с собой?

Михрие-ханым снова вошла и сказала:

– Оказывается, когда в дверь позвонили, он проснулся. Пожалуйста, проходите!

На этот раз Раиф-эфенди показался мне довольно слабым. Он был бледен и часто дышал. Его всегдашняя наивная улыбка напоминала теперь ехидную ухмылку, искажавшую черты его лица. Его глаза, смотревшие поверх очков, будто ввалились.

– Что с вами опять, Раиф-бей? Выздоровливайте скорее! – сказал я.

– Спасибо!

Его голос звучал немного глухо. Когда он кашлял, у него хрипело в груди, и она содрогалась.

Чтобы поскорее проявить участие, я спросил:

– Как же это вы заболели? Должно быть, простуда!..

Он молча смотрел на белую простынь. Маленькая железная печка, втиснутая между белыми кроватями его жены и детей, нагрела комнату слишком сильно. Несмотря на это, мой собеседник выглядел озябшим. Натянув одеяло до самого подбородка, он сказал:

– Да, я, наверное, простудился! Вчера после ужина я ненадолго вышел на улицу...

– Вы куда-то ходили?

– Нет, просто захотелось побродить... Не знаю... Наверное, скучно стало.

Меня удивило, что ему стало отчего-то скучно.

– Я, должно быть, слишком долго шел пешком. Ходил в сторону Сельскохозяйственного института. Дошел до подножия холма Кечиорен. Быстро шел, что ли... Мне стало жарко... Я расстегнул пальто... Да и ветрено было... Мелкий снег вчера шел... Замерз, наверное...

Долго гулять по пустынным улицам ночью, под снегом и ветром, с раскрытой грудью было совершенно непохоже на Раифа-эфенди.

– Вас что-то расстроило? – спросил я.

Он поспешно ответил:

– Что вы! Вовсе нет. Так, бывает иногда... Хочется погулять одному. Кто знает, может, устал вчера, или домашняя болтовня утомила.

И тут же, испугавшись, будто сказал лишнее, торопливо добавил:

– Наверное, так бывает, когда люди старятся! Разве мои домашние в чем-то виноваты?

За дверью опять раздался шум и громкие разговоры. Старшая дочь, вернувшаяся из школы, вошла в комнату и поцеловала отца в щеку:

– Как ты, папочка?

Затем, повернувшись ко мне, поздоровалась за руку:

– Вот так всегда, сударь... Иногда ему взбредет что-то в голову, говорит: «Пойду ненадолго в кофейню», – а затем то ли там простужается, то ли по дороге, понятия не имею, и внезапно заболевает... Сколько раз уже так было. Что там в той кофейне – непонятно!

Сдернув с себя пальто и бросив его на табурет, она вышла. Казалось, что Раиф-эфенди привык к такому ее обращению и не придавал этому особенного значения.

Я посмотрел в глаза больному. Он тоже перевел взгляд на меня, но в этом взгляде не было ни объяснения, ни удивления. Мне было интересно не то, почему он обманывает домашних, а то, почему он говорит правду мне. Я даже испытывал от этого легкую гордость: гордость, что я ближе к этому человеку, чем кто-либо другой.

Когда я вышел на улицу и направился домой, я задумался. Разве не был Раиф-эфенди в действительности самым простым и внутренне довольно пустым человеком? Ведь в его жизни не было ни цели, ни страстей, было ясно, что его не интересовали даже те, кто был ему ближе всех... В таком случае что не давало ему покоя? Не эта ли внутренняя пустота, не бесцельность ли жизни гнали его на улицу в ночь?

В это время я заметил, что уже подошел к гостинице, в которой тогда жил. Здесь мы делили с одним приятелем комнатку, в которую с трудом вмещались две кровати. Был девятый час. Мне не хотелось есть, и я решил подняться к себе в комнату немного почитать, но тут же передумал: в кафе на первом этаже гостиницы обычно именно в это время включали на полную громкость граммофон, и певица-сирийка из бара, жившая в комнате неподалеку от нас, приводя себя в порядок перед работой, распевала самые визгливые арабские песни. Повернув назад, я пошел по шоссе по направлению к Кечиорен. Сначала по обеим сторонам дороги шли автомастерские и грязные забегаловки. За ними, справа к верху холма, шли дома, а слева, в небольшом овраге, – уже сбросившие листву сады. Я поднял воротник. Дул резкий сырой ветер. У меня было страстное желание куда-то бежать, которое обычно появлялось, только когда я бывал пьян. Мне казалось, что я смогу идти много часов, много дней напролет. Забывшись, я не смотрел по сторонам, и не заметил, что уже прошел приличное расстояние. Ветер усилился, казалось, какая-то сила толкала меня в грудь, и мне было приятно идти вперед, борясь с этой силой.

Внезапно я задумался, почему я сюда пришел... Просто так. Никакой причины не было. Я пришел сюда без всякой цели. Деревья по обочинам стонали от ветра, а облака неслись по небу. Черные скалистые холмы вдалеке еще было слегка видно, и казалось, что касавшиеся их облака, пролетая, оставляют там часть себя. Зажмурившись, я продолжал шагать вперед и вдыхал сырой воздух. В голове вновь возник вопрос: почему я пришел сюда? Ветер был похож на тот, который дул вчера вечером, может быть, через какое-то время и снег мог пойти... Вчера в то же время здесь шел, почти бежал другой человек в запотевших очках, сжимая в руке шапку и расстегнув на груди пальто... Ветер раздувал его короткие редкие волосы и обдувал снаружи его разгоряченную голову. Что таилось в той голове? Зачем эта голова притащила сюда то старое, больное тело? Я пытался представить себе, как шел здесь Раиф-эфенди темной холодной ночью, какое выражение было на его лице. Теперь я понял, почему сам пришел сюда: я предполагал, что здесь лучше пойму его и почувствую, что происходило у него на душе. Но не чувствовал ничего, кроме ветра, который пытался сорвать мою шапку, не видел ничего, кроме гудевших деревьев и бежавших по небу облаков, стремительно принимавших самые разные формы. Жить там, где жил он, не значило жить так, как он... Пытаться понять его таким способом мог только такой наивный и такой беспечный человек, как я.

Я быстро вернулся в гостиницу. Музыка и пение сирийки в кофейне прекратились. Мой приятель, растянувшись на кровати, читал книгу. Он покосился на меня и спросил:

– Ты что это, с гулянки пришел?

Как же хорошо люди понимают друг друга! А я еще надеялся разобраться в том, что в голове у другого человека, хотел заглянуть в его спокойную либо смятенную душу. Как, оказывается, сложна и запутанна душа самого, казалось бы, простого, самого несчастного, пускай даже самого глупого человека на земле – душа, способная повергнуть в изумление любого!.. Почему мы так не хотим понять это и почему полагаем, что постичь существо по имени чело-

век и судить о нем – одна из самых легких задач? Почему, в то время как мы не говорим о свойствах сыра, который впервые пробовали, мы выносим окончательное суждение о человеке, которого встретили в первый раз?

Я долго не мог заснуть. Раиф-эфенди лежал в жару на кровати, укрытый белой простыней, вдыхая наполнявший комнату запах молодых тел дочерей и усталого тела жены. Глаза его были закрыты, но кто знает, кто знает, где бродила его душа?..

На сей раз болезнь Раифа-эфенди длилась долго. Это не было похоже на его обычную простуду. Пожилой врач, которого привел Нуреттин-бей, посоветовал горчичники и прописал лекарство от кашля. Я заходил вечером раз в два-три дня и каждый раз находил его еще более ослабевшим. Но сам он не особо беспокоился и выглядел так, будто не придает значения своей болезни. Возможно, он стеснялся волновать домашних. Однако Михрие-ханым и Неджля были в таком состоянии, что можно было и в самом деле забеспокоиться. Женщина, которая, казалось, за много лет непрерывного тяжелого труда вообще разучилась соображать, в большой растерянности то и дело входила и выходила из комнаты больного; роняла полотенце или тарелку, когда ставила ему горчичники, то и дело забывала что-то в комнате или за дверью и постоянно искала что-то у себя по карманам. Я до сих пор вижу, как она бежит взад и вперед в своих стоптанных тапках без задника, и до сих пор чувствую на себе ее застывший в растерянности взгляд, которым она словно бы просила поддержки у каждого, с кем встречалась. Неджля, хотя и не была растеряна так, как мать, была очень расстроена. В последние дни она не ходила в школу и ухаживала за отцом. Когда я по вечерам приходил проведать больного, я замечал по ее покрасневшим и опухшим глазам, что она плакала. Все это, казалось, еще больше удручало Раифа-эфенди. Когда мы оставались наедине, он жаловался мне, а один раз даже проговорил:

– Ну что же это с ними происходит? Разве я уже умираю? А даже если и умру – ну и что... Им-то что? Кто я им?.. – А затем добавил – горько и безжалостно: – Я для них – ничто... Ничто... Много лет мы жили вместе в одном доме... Они даже не интересовались – кто этот человек... А сейчас все испугались, что я уйду навсегда...

– Ради бога, Раиф-бей, – попытался успокоить его я. – Разве можно так говорить... Они и в самом деле чересчур сильно волнуются, но объяснять это подобным образом нехорошо... Это же ваша жена и ваша дочь!

– Да, моя жена и дочь... Но только и всего...

Он отвернулся. Я не понял последних его слов, но постеснялся о чем-либо спрашивать.

Нуреттин-бей, чтобы успокоить домашних, привел терапевта. Этот человек долго осматривал больного, а затем сказал, что у того воспаление легких. Увидев, что окружающие в замешательстве, он добавил:

– Да не беспокойтесь вы, все не так серьезно! Слава богу, организм у него крепкий и сердце здоровое, поправится. Только надо быть внимательными... Следите, чтобы он не мерз. Даже лучше будет, если вы отправите его в больницу!

Услышав словно «больница», Михрие-ханым совсем растерялась. Опустившись на табурет, она заплакала навзрыд. Нуреттин-бей наморщился, словно предложение врача затрагивало его честь.

– С какой стати? – возмутился он. – Дома за ним будут ухаживать лучше, чем в больнице! Доктор, пожав плечами, ушел.

Сначала Раиф-эфенди и сам хотел ехать в больницу.

– По крайней мере, там я отдохну! – говорил он. По его виду ясно было, что он хочет побыть один, но, увидев, как сильно возражают против этого домашние, перестал спорить. С безнадежной улыбкой он пробормотал: – Все равно они меня и там не оставят в покое!

Однажды, я до сих пор помню, это было в пятницу вечером, я сидел на табурете в изголовье Раифа-эфенди и слушал, как он хрипло дышит. В комнате больше никого не было.

Громко тикали большие карманные часы, лежавшие рядом на тумбочке среди пузырьков с лекарствами. Больной, открыв ввалившиеся глаза, пробормотал:

– Мне сегодня немного лучше!

– Конечно же... Ведь не может это все время продолжаться...

Тогда, печальным голосом, он спросил:

– А сколько это еще будет продолжаться?..

Я понял истинный смысл его вопроса, и мне стало страшно. Звучавшая в его голосе тоска давала понять, что он имел в виду.

– Что с вами, Раиф-бей? – тихо спросил я.

Глядя мне в глаза, он твердо спросил:

– Зачем все это? Разве уже не хватит?

В это время вошла Михрие-ханым. Подойдя ко мне, она сказала:

– Сегодня ему лучше! Даст бог, он поправится и на этот раз!

Затем повернулась к мужу:

– В воскресенье будем стирать. Хорошо бы, если б господин принес полотенце!

Раиф-эфенди утвердительно кивнул. Женщина поискала что-то в шкафу и снова вышла. Все ее переживания и волнения улетучились, стоило больному почувствовать себя лучше. Сейчас голова ее вновь была забита домашними делами, приготовлением еды и стиркой белья. Как и все простые люди, она очень быстро переходила от печали к радости, от волнения к спокойствию и, как все женщины, очень быстро обо всем забывала. В глазах Раифа-эфенди светилась грустная задумчивая улыбка. Показав головой на пиджак, висевший на спинке кровати, он сказал:

– Там в правом кармане должен быть ключ, возьми его, открой верхний ящик моего стола. Принеси полотенце, о котором жена говорила... Я, право, тебя утруждаю...

– Принесу завтра вечером!

Устремив глаза в потолок, он долго молчал. Потом внезапно повернулся ко мне и сказал:

– Принеси все, что там, в ящике, будет! Все, что есть... Жена, кажется, почувствовала, что на работу я больше не пойду... Наш путь теперь в другие края...

Его голова вновь откинулась на подушку.

На следующий день под вечер, перед тем, как уйти с работы, я подошел к столу Раифа-эфенди. Справа было три ящика, один над другим. Сначала я открыл нижние: в первом было пусто, в другом лежало несколько бумаг и черновики переводов. Засовывая ключ в верхний ящик, я похолодел: я заметил, что сижу на том же месте, где на протяжении многих лет сидел Раиф-эфенди, и повторяю действия, которые он повторял каждый день. Я быстро выдвинул ящик. На первый взгляд в нем было пусто. Только сбоку лежало довольно грязное полотенце, кусок мыла, завернутый в газетную бумагу, котелок, вилка и складной нож марки «Зингер» со штопором. Я быстро завернул все это в бумагу. Задвинув ящик, я встал, но вдруг подумал, что могло что-то остаться в глубине ящика, и снова выдвинул его и пошарил рукой внутри. В самом деле – в глубине ящика лежала какая-то тетрадь. Я взял ее, положил к другим вещам и вышел. Пока я оставался в комнате на месте Раифа-эфенди, меня не покидала мысль, что, возможно, ему больше не придется сидеть на этом стуле и выдвигать этот ящик.

Придя к нему домой, я увидел, что все вновь были сильно взволнованы. Дверь открыла Неджля и, увидев меня, закачала головой:

– Не спрашивайте! Не спрашивайте!

К тому времени я стал почти членом семьи, и домашние не воспринимали меня как чужого. Младшая дочь пожаловалась:

– Папе снова плохо! Сегодня два раза было. Мы очень испугались. Тетин муж привел доктора, сейчас он у него... Делает укол... – и тут же исчезла в комнате больного.

Я не стал входить к больному. Опустившись на один из стульев в холле, я положил перед собой пакет, завернутый в бумагу. Михрие-ханым несколько раз выходила из комнаты, но я все не решался отдать ей эти жалкие предметы. Когда кто-то терпит предсмертные мучения, отдавать его близким грязное полотенце и старую вилку весьма неуместно. Я встал и начал ходить вокруг большого стола. Увидев себя в зеркале буфета, удивился. Я был бледен. Сердце колотилось как бешеное. Попытки человека устоять на узком мосту между жизнью и смертью всегда кажутся ужасными. Затем я подумал, что у меня нет никакого права проявлять в присутствии его близких – его жены, дочерей и других родственников – больше беспокойства, чем они.

В это время мой взгляд упал на приоткрытую дверь гостиной. Подойдя ближе, я увидел деверей Раифа-эфенди, Джихата и Ведата. Они сидели рядом на диване и курили. Они явно злились друг на друга из-за того, что у них дома стряслось горе и что им никак не уйти гулять. Нуртен сидела в кресле, опустив голову на руки; непонятно было, плакала она или спала. Чуть подальше свояченица Раифа-эфенди, Ферхунде, держала на коленях обоих детей, что-то тихонько говорила им, но было прекрасно видно, что разговаривать со своими детьми она не умеет.

Дверь из комнаты больного открылась, вышел врач, а за ним следом Нуреттин-бей. Несмотря на все внешнее безразличие, по виду доктора чувствовалось, что он обеспокоен.

– Не отходите от него, и если начнется приступ, сделайте такой же точно укол, – сказал он.

Нуреттин-бей, нахмурившись, спросил:

– Это опасно?

Доктор ответил точно так, как в подобной ситуации отвечают все доктора:

– Пока не понятно!

И, чтобы не подвергаться дальнейшим расспросам, и особенно чтобы жена больного не доносила его беспокойством, быстро надел шляпу с пальто, поморщившись, взял у Нуреттина-бея три серебряных лиры и покинул дом.

Я медленно приблизился к двери больного. Заглянул внутрь. Михрие-ханым и Неджля встревоженно смотрели на человека, лежавшего перед ними с закрытыми глазами. Увидев меня, девушка кивнула, приглашая подойти. Они с матерью хотели увидеть, какое больно́й произведет впечатление на меня. Я это заметил и поэтому изо всех сил старался держать себя в руках. С видом удовлетворения увиденным я слегка кивнул. Затем, повернувшись к женщинам, через силу улыбнулся:

– Кажется, опасаться нечего... Даст бог, поправится!

Больно́й приоткрыл глаза и какое-то время смотрел на меня, словно бы не узнавая. Затем, прилагая большие усилия, повернулся к жене и дочери, пробормотал что-то невнятное и, наморщившись, стал делать им какие-то знаки.

Неджля подошла ближе:

– Ты что-то хочешь, папочка?

– Выйдите все ненадолго!

Его голос был тихим и прерывистым.

Михрие-ханым сделала нам знак. Но больно́й, увидев это, высвободил из-под одеяла руку, поймал меня за запястье:

– А ты не уходи!

Женщины слегка удивились. Неджля проговорила:

– Папочка, ты бы не поднимал руку!..

Раиф-эфенди поспешно кивнул, будто хотел сказать «Знаю, знаю!» и снова сделал им знак выйти.

Обе женщины, вопросительно глядя на меня, покинули комнату.

Тогда Раиф-эфенди указал на пакет, который я держал в руках и о котором совершенно забыл:

– Ты все принес?

Сначала я, не понимая, смотрел на него. Столько церемоний, чтобы спросить лишь об этом? Больной продолжал смотреть на меня, глаза его блестели, словно он сильно волновался.

В тот миг я впервые вспомнил о той самой тетради в черной обложке. Я ведь ни разу ее не открыл, не поинтересовался, что там написано. Мне даже в голову не приходило, что у Раифа-эфенди могла быть подобная тетрадь.

Быстро открыв пакет, я положил полотенце и все, что там было, на табурет у двери. Затем, взяв тетрадь, показал ее Раифу-эфенди:

– Вы это хотели?

Он утвердительно кивнул.

Я украдкой перелистал тетрадь. Во мне росло неодолимое любопытство. На страницах в линейку я увидел крупные и неровные буквы и строчки, написанные, как видно, в большой спешке. Я заглянул на первую страницу, заголовка там не было. Справа стояла дата: «20 июня 1933 года» и сразу под ней шли следующие строки: «Вчера со мной произошел странный случай, который заставил меня вновь пережить некоторые события десятилетней давности»...

Что было ниже, я прочесть не успел. Раиф-эфенди снова высвободил руку и остановил меня.

– Не читай! – проговорил он и, указав головой на противоположный угол комнаты, пробормотал:

– Брось ее туда!..

Я посмотрел, куда он показывал. В углу стояла железная печь, в которой за слюдяными окошками сверкали красные огоньки.

– В печь?

– Да!

В тот миг мое любопытство достигло высшей точки. Уничтожить тетрадь Раифа-эфенди собственными руками показалось мне невозможным.

– С какой стати, Раиф-бей! – заупирался я. – Разве не жалко? Разве правильно жечь тетрадь, которая долгое время была вашим другом?

– Она не нужна! – сказал он и вновь показал на печку. – Она больше не нужна!

Я понял, что убедить его передумать невозможно. Быть может, душу, которую он скрывал ото всех, он излил в этой тетради и сейчас хотел уйти вместе с ней. Во мне проснулось бесконечное милосердие и бесконечная жалость к этому человеку, который не хотел ничего оставить людям после себя и который, шагая навстречу смерти, забирал с собой даже свое одиночество.

– Я понимаю вас, Раиф-бей! – сказал я. – Да, я вас хорошо понимаю. Вы правы, что ревниво прячете все от людей. Ваше желание сжечь свою тетрадь тоже верно... Но не могли бы вы дать ее мне, хоть ненадолго, хоть на день?

Он недоуменно посмотрел на меня, словно спрашивая: «Зачем?»

В ответ я лишь придвинулся ближе к нему, чтобы он видел, какую любовь и сострадание я к нему испытываю, что было для меня последним средством.

– Прошу вас, оставьте мне эту тетрадь на одну ночь, только на одну! Мы с вами так долго дружим, а вы никогда о себе ничего не рассказывали... Разве не естественно интересоваться жизнью друга? Неужели вы считаете, что от меня тоже нужно прятаться? Вы для меня самый дорогой человек на свете... И, несмотря на это, хотите бросить меня и уйти, словно я в ваших глазах – ничто, как и все?

Слезы навернулись мне на глаза. В горле стоял комок, но я продолжал говорить, как бы изливая накопившиеся у меня в душе упреки этому человеку, который на протяжении многих месяцев избегал открыться мне:

– Возможно, вы правы в том, что отказываете людям в доверии. Но разве среди людей нет исключений? Разве не может так быть? Не забывайте, что вы – один из этих людей... То, что вы делаете, в конце концов, может оказаться просто бессмысленным эгоизмом.

Я спохватился, вспомнив, что такие вещи тяжело больному человеку говорить не стоит, и замолчал. Он тоже молчал. Наконец, сделав последнее усилие, я произнес:

– Раиф-бей, поймите меня! Я ведь в начале того пути, в конце которого уже находитесь вы. Я хочу познать людей, а особенно хочу знать, что люди сделали вам...

Больной, резко мотнув головой, перебил меня. Он что-то бормотал; я наклонился, чувствуя на своем лице его дыхание.

– Нет, нет! – говорил он. – Люди ничего мне не сделали... Ничего... Все сделал я сам... Я сам...

Внезапно он замолчал, его голова в изнеможении упала на грудь. Он задышал чаще. Было ясно, что эта сцена его утомила. Я тоже почувствовал сильную душевную усталость. Я уже собирался бросить тетрадь в печь. Вдруг больной вновь открыл глаза:

– Никто не виноват... Даже я!

Он закашлялся. Наконец, указав глазами на тетрадь, проговорил:

– Читай, все поймешь!

Я тут же положил тетрадь в черной обложке в карман.

– Завтра утром принесу ее и сожгу у вас на глазах! – пообещал я.

– Делай, как знаешь! – с безразличием пожал плечами больной.

Я понял, что он порвал связь даже с этой тетрадью, которая, несомненно, содержала самое важное, что было в его жизни. Собираясь уходить, я наклонился поцеловать ему руку. Когда я хотел встать, он не отпустил мою руку, а привлек к себе и поцеловал, сначала в лоб, затем в щеки. Когда я поднял голову, то увидел, что у него из глаз по вискам текут слезы. Раиф-эфенди не делал ничего, чтобы скрыть их или вытереть и, не моргая, смотрел на меня. Я тоже не смог сдержаться и заплакал. То были тихие, молчаливые слезы, такие, какими плачут от настоящего и действительно большого горя. Я подозревал, что потерять его будет трудно. Но я и представить не мог, что это будет так ужасно, так больно.

Раиф-эфенди снова пошевелил губами. Едва слышно он прошептал:

– Мы ни разу с тобой не разговаривали, сынок... Как жаль! – и закрыл глаза.

Теперь мы уже попрощались друг с другом... Я стремительно прошел через гостиную и выскочил на улицу – лишь бы мое лицо не видели те, кто ждал за дверью. На улице холодный ветер обжигал мне щеки. А я все время твердил про себя: «Как жаль!.. Как жаль!..»

Когда я пришел домой, мой приятель уже спал. Я лег в постель, зажег у изголовья маленькую лампу, тут же достал тетрадь Раифа-эфенди в черной обложке и начал ее читать.

20 июня 1933 г.

Вчера со мной произошел странный случай, который заставил меня вновь пережить некоторые события десятилетней давности. Я знаю, что эти воспоминания, которые, как я думал, уже совсем позабылись, теперь никогда не оставят меня... Коварный случай вывел их вчера на мою дорогу и пробудил меня от глубокого сна, в который я был погружен уже много долгих лет, от бесчувственного оцепенения, к которому я уже привык. Я солгу, если скажу, что сойду с ума или умру. Человек ведь быстро привыкает и смиряется с тем, что, как он думал, никогда не сможет перенести. Я тоже переживу... Но как переживу!.. Какой нестерпимой пыткой станет моя жизнь теперь!.. Но я вытерплю... Как и терпел до сих пор...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.